

Коммунистическая правда
1977, 16 фев. №39

ВАРИАНТ ИВАНОВА

Первая роль Смоктуновского во МХАТе

ПО-ВИДИМОМУ, не будь это Смоктуновский, расположение сил, акценты и, соответственно, наши заключения о тех или других лицах были бы иными. Смоктуновский входит уникальным обстоятельством в условия игры.

На двух спектаклях, которые довелось видеть, на предфинальной реплике Лебедева («напустил туману в нашу жизнь») среди части публики, пусть малой, раздавался сочувственный, т. е. разделяющий искреннее недоумение Лебедева, смех. То, что кто-то мог принять сторону Лебедева, не только снова и снова свидетельствовало о неумирающей необходимости для нашей культуры Чехова. Высота, которую художнически задавал Смоктуновский, оказывалась высотой столь разреженного воздушного пространства, а бездны души его, Иванова, — столь глубокими, что иногда становилось трудно дышать, и тогда невольно таянуло к середине, к реплике Лебедева, в сочувственный, успокаивающий самих себя смех: все в порядке, это только он один такой странный...

Возможно, новый мхатовский спектакль (постановка О. Ефремова, художник Д. Боровский) надо смотреть по телевидению. Действие его течет покойно, ровное, коли не вало, ни напряжение, ни тревога, по существу, не заложены в поведение остальных персонажей. Но Смоктуновский... Если б была возможность постоянно видеть его крупный план!

Иванова играли иначе. По-разному, но всегда иначе. Он был виноват и не виноват, и мучился сознанием своей вины, и производил свои монологи с болезненной страстью, иногда запрятанной внутрь, иногда прорывавшейся, но то была страсть, а следовательно, жизнь, а следовательно, еще ничего не было кончено. Для этого Иванова все конечно. Со страстью говорят другие. О крыжовенном варенье, о выигрышных билетах, о процентных бумагах. Страсти прямо-таки кипят вокруг. Когда появляется на сцене артист Сергачев, никакой это не Косых, Дмитрий Никитич, акцизный, как обозначено у Чехова! — полное, это сам Чацкий! Благородная внешность, благородная тоска: «Неужели даже поговорить не с кем? Живешь как в Австралии: ни общих интересов...» И все с волнением, или с болезненным восторгом, когда вроде как решается судьба, когда главное вопроса уже быть не может, а весь вопрос: «за что мы остались без взятки?»

Иванов — Смоктуновский сидит молча, крепко обхватив себя руками. Почти видно, почти осязаемо, как звуки доносятся до него, словно сквозь плотную вату. Изредка, как бы опомнившись, взглядывает он на Боркина, женихов, Зююшку взглядом не отсюда, а из глубины его понимания вещей, и тогда его молчание говорит: да что же это за ужас бессмыслицы! и что же он все думает? Представьте себе, что человек умер или умирает, и все эти копеечные страсти бушуют у его ода —

фарс, чепуха, душно, спертый воздух пошлости. Здесь то же. Иванов покоящийся, по слову Достоевского, человек. Если бы так уже не была названа другая гениальная пьеса, эту следовало бы назвать «Живой труп». Потому в произносимых им монологах и репликах почти и нет никаких других красок, кроме усталости. То есть они есть, именно есть, и гамма их поразительна, но они все о том же — о бесконечной человеческой усталости. И лишь иногда — как «пощадите» — криком прорывается, что все на исходе и вот-вот оборвется. «Голова болит», — все повторяет он со своим непередаваемым жестом: правая рука трет лоб, левую его сторону, и этот сломанный рисунок руки, как сломанное крыло птицы...

НА СМОКТУНОВСКОГО надо более всего смотреть в минуты его молчания. Слелать над собой усилие, отвлечься от лица говорящего в данную секунду и смотреть только на него. В молчании, без малейшего трагического выплеска, — вся трагедия безысходности.

Все они и он существуют в этом спектакле в разных измерениях. Он и прежде, счастливый, был не отсюда, со своим пронзительным ощущением правды, веры, цели жизни. Не отсюда он и теперь, когда все кончается. И настолько он глубже, содержательнее, талантливее других, что, причиняющий боль, он все равно прекрасен, уже не по категории этического, а по категории эстетического.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЙ Иванов и действующий Боркин (артист Невинный) — первая антитеза Иванова. Пошлость и жизненная энергия Боркина, жизненная энергия, направленная на пошлые цели, особенно переносимы, оскорбительны для Иванова. Боркин шагает по сцене, наступая, а Иванов отступает, отклоняется, только чтоб их пути не пересеклись, только не коснуться... Как, какими средствами умеет передать артист эту переносимость чужих касаний, это — с оголенными нервами, без кожи — существование?

Первый, с кем не формально заговаривает Иванов — Смоктуновский, — доктор Львов. В хаосе фальшивых звуков чуткий слух Иванова мгновенно угадывает чистую, верную, искреннюю ноту — слово, сказанное не во лжи. Это слово доктора (лаконично и выразительно сыгранного артистом Киндиновым). Что-то, кого-то напоминает оно Иванову своей горячностью, верованием, внутренней силой. Ах, да бже мой, его самого, когда он был молод, горяч и веровал так же! Потому в ответ на резкие слова Львова: «вы мне глубоко несимпатичны», — следует такая вслушивающаяся, вдумывающаяся пауза Иванова (никакой личной обиды или задетости — напротив): «возможно, что вы меня понимаете». Иванов Смоктуновского стоит над привычными, банальными реакциями, поскольку его измерение жизни, ее проявлений, ее ценностей —

инные. Кроха надежды: а вдруг это и есть новый человек, который знает? который сумеет — то, что не сумел он, Иванов?

Вот отчего его первое обращение к Львову еще исполнено интереса.

К Сарре — нет. Едва она появляется, красивая и даже несколько загадочная, как сразу следует неестественность, игра, некое ломание комедии. Понятно, в общем, поведение женщины, чувствующей, что почва уходит у нее из-под ног, она теряет любовь любимого человека, и надо держаться, и потому эта якобы улыбка и якобы хорошее настроение. Фальшивая улыбка. Сарра неумна, и — все не то.

Истинное чувство, истинная боль прорвется в последней сцене Сарры — Мирошниченко — обнаженно, почти грубо. Но опять она произнесет не те слова. Собственно, одно слово — «лгал». Она станет повторять его на разные лады: солгал о любви, о добре, о правде, а он будет едва слышно бормотать про себя: «я никогда не лгал...» — и ужасное это непонимание обрушится ужасным же: «ты скоро умрешь». Эта Сарра не могла разделить с Ивановым ничего, кроме любви, и когда любовь прошла — а она прошла и от этого тоже, оттого, что ей нечем стало питаться, ибо не было ни духовной близости, ни товарищества, — остались лишь госка и раздражение.

Иванову дана была судьба незаурядная. Уже близко к самому концу скажет Иванов Лебедеву о мужике Семене, который работал у него, так скал мешки и надорвался. Он, Иванов, тоже надорвался. Горячая вера, горячая любовь, горячие проекты, все несбывшееся — его «мешки».

Так же, как к Львову, оборотится он и к Саше: может быть, она? Не о «романе» тут речь. О последней соломинке надежды.

Как знать, возможно, не будь этих всплесков надежды, состояние «живого трупа» еще тянулось бы. Возможно, тяжелый цинизм Шабельского (каким играет его Евстигнев, хотя нам ближе глухое отчаяние в этой роли Прудкина) — вот будущее, которое ожидало бы Иванова. Саша и Львов, в сущности, самые различные тут люди, поманив Иванова призраком еще возможной веры, ускорили его конец. Да, и такие парадоксы есть еще в запасе у проказницы-судьбы. Уже давно все зная и все-таки, вопреки этому тяжкому знанию, надеясь, он так хотел услышать слово новой правды, увидеть поистине новых людей! Но все свелось к узко-прямолинейным, ограниченным упрекам и советам. Львов: «кто вас уполномочивал оскорблять во мне мою правду». Саша: «главное, не забывай дела». «Как будто я мухомору объелся», — скривится Иванов.

Несовместимость — главное слово для этого Иванова. Несовместимость с суетной, пустой, ложной жизнью.

Герцен написал когда-то: «Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вче-

ра страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище». Да, таков психологический, а может быть, и физиологический закон: так выживают после беды, которая с нами стряслась. Выживают, приспособившись к переменявшимся обстоятельствам. Но когда погибают — иначе. Пустота — остается. И, оставаясь, убивает человека. Славный Лебедев (его мягко, ненавязчиво играет Попов) приспособился. Университет, студенчество, либеральные взгляды — все было. Но ушло. И обнаружилось, что можно и так, при жене-процентщице, при постоянной рюмке. А для Иванова — нельзя. Он горел. И думал, что его пламени хватит на то, чтобы осветить и обогреть хоть кого-то и хоть что-то окрест. Не хватило.

Вопросы Иванова — это все вопросы великой русской литературы: кто виноват? и что делать?

Написанная в 1887 году, пьеса «Иванов» являла собой не только тончайшее психологическое исследование человека, типа, русского типа, но и мучительное размышление Чехова о судьбе интеллигенции того «больного времени», вынужденной бесплодно и бесцельно растрчивать лучшие силы ума и души. Может быть, более, нежели иные документы, пьеса эта свидетельствовала о тупике, в который зашло общество, о ситуации, которая не могла не требовать революционного выхода. Обращаясь сегодня к этому произведению, советский театр не только еще раз подтверждает историческую необходимость социальных сдвигов, какие произошли 60 лет назад (Блок: «чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»), но и учится у Чехова острой и серьезной постановке проблемы, глубокому пониманию человека.

Нынче в ходу понятие: оптимальный вариант. Хорошее, верное, нужное для жизни понятие. Но в искусстве бываете необходим и иной — экстремальный вариант. Отклоняясь от нормы, от середины, он заставляет сильнее заботиться сердце, напряженнее работать мысль, посмотреть на привычные нормы, свежими глазами. Иванов Смоктуновского — экстремальный вариант. МХАТ, постановщик спектакля Олег Ефремов вписали яркую страницу в историю театра.

...Иванов — Смоктуновский еще найдет в себе силы закричать Боркину «вон!», когда тот перейдет всякие рамки в своих цинически-деловых размышлениях. Еще задаст последний — из безразличного отчаяния — вопрос доктору Львову: «если вы так хорошо меня понимаете, скажите, что мне делать?» И спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, примет Львовского «подлеца» в финале. Человек, чей нравственный счет самому себе так велик, что он не может больше жить, — что ему чужие обвинения? Он еще улыбнется в ответ на защитительную речь Саши: «Не свадьба, а парламент!» Отойдет и застрелится.

О. КУЧКИНА.